В. Ф. Г.

ЗА НЕВСКОЙ ЗАСТАВОЙ

Записки рабочего

АЛЕКСЕЯ БУЗИНОВА

С предисловием Б. ГОРЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД



90 : К18-30

Обуховский завод что-то сдал, кажется, стал на работу после угрозы морского министра закрыть его. Остальные заводы некоторое время прислушивались к Александровскому механическому заводу Николаевской железной дороги. Но он, хотя и был настроен очень революционно, медленно раскачивался на самые выступления. И вот, как в отдельном кружке, в комитете мастерской или завода всегда выделялся кто-нибудь один, так за Невской заставой выдвинулся вперед наш Семянниковский завод и стал поводырем для остальных фабрик и заводов. Наш успех и решительность в борьбе окрылили верою в собственные силы всех рабочих и заставили их прислушиваться к голосу семянниковцев. Таким образом Невский судостроительный и механический завод сделался политическим лидером всей Невской заставы. За ним тянулись все фабрики и заводы, но в ближайшие дни выровнялись с ним по сокращению рабочего дня только казенные: Обуховский сталелитейный и пушечный завод, Александровский механический и примыкающие к нему вагонные мастерские. Всем же прочим нехватало дерзания...

Со времени окончания занятий в нашем кружке я числился членом партии социалистов-революционеров, но все мои партийные обязанности сводились к уплате членского взноса по копейке с рубля и получению квитка с оттиском половины партийной печати. Членские взносы собирал Новицкий, работавший в механической мастерской. Кроме него ни с кем из партийных товарищей я не соприкасался приблизительно до половины лета, когда в кузнице сорганизовался партийный кружок, от которого меня выбрали представителем в заводский комитет. На чем основывался этот выбор, я уже не помню, но тогда звание комитетчика меня очень радовало. В самом комитете пользы от меня не было никакой: я оказался там наиболее бесцветным и малосмыслящим членом. С этих пор мои обязанности сводились к сбору членских взносов с других и передаче денег вместе с честовой книжкой комитетскому казначею Симановскому. Раз в неделю при докладе с мест мне приходилось

рассказывать в комитете о настроении и требованиях наших кузнецов и молотобойцев. Это не требовало больших способностей. В комитетский день я просто обходил все кучки рабочих или собирал их сам и спрашивал, что мне сказать в комитете? Из подобных докладов председатель делал сводку о всем нашем заводе для районного комитета.

Однако даже и такое участие в заводском комитете очень развивало меня. Каждое его заседание знакомило меня с какой-нибудь новой стороной жизни нашего завода и всего района. На этих же заседаниях я знакомился и с деятельностью политических партий. Так, на первом заседании комитета в моем присутствии был доклад о только что законченной перестройке нашей партийной организации, названной „Невским районом".

Организацию возглавлял районный комитет. Он руководил всей партийной работой, выполнявшейся тремя подрайонными комитетами, между которыми была разделена вся Невская застава. Самый низ организации составляли заводские и фабричные комитеты из выборных от мастерских и цехов. Организацию построили по уставу, допускавшему только выборное начало. Этот устав действовал и точно выполнялся до отлива революционной волны, когда снова возродилась кооптация.

Наш заводский комитет избрал в подрайонный комитет трех делегатов: упомянутого Новицкого, Бориса Игнатьева и чертежника Рыкова. Игнатьев вскоре прошел в районный комитет, и тогда его заменили кем-то другим.

Подрайонный комитет поручал нам составлять партийные кружки и распространять нелегальную литературу. Мы в свою очередь ставили ему задачей объединение всех заводов и фабрик. Выполнение этой задачи осуществилось „в потемкинскую неделю", как тогда окрестили время, когда восставший броненосец „Князь Потемкин-Таврический" бушевал в Черном море. Тогда же состоялось соглашение между социал-демократами и социалистами-революционерами, работавшими за Невской заставой. Они совместно образовали внепартийный

рабочий комитет для согласования действий обеих партий и руководства рабочим движением.

В Рабочий комитет вошли представители подрайонных комитетов социалистов-революционеров и представители от социал-демократической организации, имевшей только районный комитет. Выборы производило межпартийное собрание, устроенное на Спасском кладбище. Это же собрание предоставило Рабочему комитету право решать все вопросы, касающиеся рабочего движения за Невской заставой, пока не будут выбраны делегаты непосредственно от фабрик и заводов.

Выборы в Рабочий комитет фабрично-заводских делегатов растянулись надолго. Больше всего им мешала сугубая коспирация, которой они обставлялись, что было мало понятно.

Время тогда стояло такое, что необходимость конспирации и погоня за ней казались излишними. Конспираторские же ухищрения только устраняли от выборов многих рабочих. Да и самые выборы проходили неважно. Их многостепенность подрывала живой интерес массы к Рабочему комитету. Существование его хотели сохранить втайне, но о нем все равно уже знали еще до его оформления. Рабочий комитет должен был руководить рабочим движением точно так, как партии руководили социалистическим движением. Первое было значительно шире и гораздо моложе последнего. Одно это обстоятельство требовало не прятать Рабочий комитет, а выдвигать его всеми способами наружу и соединять его с рабочей массой живой связью. В течение семи месяцев с начала года было проведено несколько собраний по заводам и фабрикам и много массовок в лесах. На этих собраниях перед рабочими постоянно происходили словесные схватки не только между марксистами и народниками, но и между двумя группами [1] социал-демократов, успевших уже разделиться на большевиков и меньшевиков.

---

[1] Слово „фракция" вошло в рабочий словарь в широкий обиход за Невской заставой только в 1907 г. во время заседания 2 Государственной думы.

Общепартийным лозунгом рабочего движения в то время являлась всеобщая политическая забастовка. Партии энергично внедряли этот лозунг в сознание рабочей массы. В это время частичные забастовки стали обычным явлением. За Невской заставой не было такого завода или фабрики, которые с начала года бастовали меньше двух раз. Из всех этих забастовок я не помню ни одной, окончившейся поражением рабочих. Так оно, вероятно, было и на самом деле. Иначе трудно понять, почему среди нас забастовка считалась наилучшим оружием в борьбе. Следует также отметить, что эти частичные забастовки имели громадное значение в переломе психологии рабочих. В этих забастовках рабочие поняли свою роль и удельный вес, как массы, в экономической жизни страны.

— Прошли старые времена,—говорил не раз и не один рабочий,—теперь не мне хозяин нужен, а он подохнет без моих рук.

Другие подхватывали налету брошенную мысль:

— Что и говорить, мир на нашей работе держится, а киты уплыли пескарей глотать...

— Вестимо, галушки сами в рот валятся только в сказке...

Подобные разговоры слышались на каждом шагу, и в них всегда красочно проявлялось новое сознание рабочих. Теперь, если кому и было что-нибудь нужно дозарезу, то он уже не бежал в контору мастера, но спрашивал себя, „что скажет рабочий класс," работающий с ним в одной бригаде. Это сознание и было той разрыхленной и хорошо подготовленной почвой, на которую так благоприятно ложились семена пропаганды и агитации за всеобщую политическую забастовку.

Наряду с лозунгом всеобщей забастовки раздавались и призывы к вооруженному восстанию. Но в этом вопросе между социалистами не существовало единодушия. О рабочих и говорить не приходится—перед массой не было практического урока, а отвлеченные возможности восстания как будто оставались малопонятными. И насколько речь о всеобщей забастовке захватывала и увлекала всех

рабочих поголовно, настолько проповедь вооруженного восстания вызывала лишь недоуменное поглядывание друг на друга. Вооруженное восстание рисовалось в глазах рабочих как настоящая война с ружьями и пушками. Но многие из рабочих не проходили военной службы и считали себя неспособными действовать оружием. Молодежь больше увлекалась возможностью вооруженного восстания, представляя его в образах, навеваемых революционной поэзией.

Когда партии заговорили об организации боевых дружин, то от охотников из молодежи не было отбоя. Ушел и я в боевую дружину.

Боевые дружины были построены по принципу десятков. Члены каждого такого десятка должны были хорошо знать друг друга, так, чтобы любой мог поручиться за всех остальных. Затруднений в этом отношении не встречалось. Мы подбирали себе товарищей, не считаясь с тем, что некоторые из них не проходили партийных кружков. После нам это ставили в упрек и, пожалуй, вполне правильно, так как при таком приеме в партию попадали через боевую организацию люди совершенно незнакомые с программой и чуждые ей по своей психологии.

Вообще в то время каких-либо особых правил о принятии в партию не было. Точно так же и в комитетах не было никаких записей вступающих. Сверху никто не собирался тащить кого бы то ни было за волосы, а снизу все хорошо знали свои обязательства: сами несли членские взносы и получали квитки. Однако все это ничуть не помешало зародиться легенде о какой-то особой „записи“, и, надо сказать, эта легенда создавала некоторый „ореол“ записавшемуся в партию и поднимала его в глазах других на высшую ступень.

Боевая дружина представлялась нам как нечто величественное. Ни одному из нас она не казалась подобием нашего десятка.

Районный комитет прислал нам для практической стрельбы громадных размеров револьвер, называвшийся—если не изменяет память—Джон Граф. В его дуло

свободно входил указательный палец, сам же револьвер больше годился для употребления в качестве холодного, чем огнестрельного оружия. Мы выпустили из этого револьвера целую сотню патронов и ни одной пули не всадили ни в круг, ни даже в доску, на которой была накрашена цель. После этого районный инструктор нашел, что дуло револьвера согнуто... Вероятно прежний владелец револьвера взламывал им замки или поднимал тяжести, как прочным и увесистым рычагом. Одного качества все же нельзя отрицать у этого „Джон Графа“: звук его выстрела прямо оглушал стрелка и немногим уступал пушечному. С этим „оружием“, пригодным заменить древне-русскую палицу, мы прожили с месяц, в продолжение которого нам только обещали большое количество настоящего оружия, ожидавшегося из-за границы. В конце лета у нас действительно появились браунинги, маузеры, один парабеллум, три солдатских винтовки и один винчестер.

Стрельбе, обращению с оружием и разборке его нас обучал инструктор. Боевая практика производилась раз в неделю—иногда в лесу за фабрикой Торнтона или за разъездом Славянка, но нередко и за станцией „Поповка“, на которую мы ездили с дачным поездом Николаевской железной дороги. „Теорией“ боевого дела занимались сперва два раза в неделю, а затем—три. Она сводилась просто к чистке револьвера и винтовок, сопровождавшейся тем, что инструктор объяснял особенности механизма.

Приблизительно в это же время у нас появилась напечатанная на пишущей машинке „Инструкция по изготовлению взрывчатых веществ и их употреблению, а также по минированию квартир для обороны от нашествия жандармов“. Недели в две мы выучили ее наизусть, а потом устроили собственную „лабораторию“.

В наш десяток входили три ученика „химической школы“, находившейся в Стеклянном городке: Иосиф Мельдер—сын сторожа стеаринового завода, Николай Дмитриев—сын машиниста Обуховского завода, и Володя—сын модельщика Максима с нашего Семянниковского

завода. Эта тройка прошла через революционное движение за Невской заставой с одной общей кличкой „химик", часто сбивавшей со следа охранку. Их работа началась с того, что они натаскивали из школы необходимых приборов—колбочек, склянок и фарфоровых ступок, а затем они же заняли в нашей лаборатории положение мастеров, как люди, знакомые по школе с химическими опытами.

Лабораторию основали в комнате Даниила Морозова, а днем, когда он уходил на завод, все припасы прятали в печь—голландку. Дела в лаборатории на всех нехватало, и многие занялись отливкой и обработкой на заводе оболочек для бомб. Эта часть работы шла успешнее других: запасы оболочек скопились такие, что вызывали беспокойство у инструктора—он не представлял себе, куда их можно все употребить.

Изобилие „ученых химиков", во главе с инструктором, не спасло „лабораторию" от взрыва, разворотившего хранилище-печку. Несчастья с людьми в этот раз не случилось, но самый взрыв перепугал всех обитателей дома настолько, что они не могли успокоиться, пока не изгнали из квартиры Морозова.

Об участниках нашего десятка мне придется упоминать, когда речь коснется боевых дружин. К тому времени из нашей среды исчез только наш инструктор. Его звали „Николай Петрович" и реже просто „товарищ Николай". Как человек с определенным душевным складом, он совсем не подходил к нашему обществу. По его особенно изысканной деликатности, казалось бы, его место среди кисейных барышень. Не было бы ничего удивительного, если бы пришлось встретить его с букетом нежных цветов, но как-то странно казалось, что он занимается возней с оружием и заготовкой бомб. И за все время совместной работы он нисколько не огрубел, ни с кем не сдружился и как будто страдал среди нас. В общем разговоре он обычно не участвовал, а только посматривал на нас как-то тоскливо и краснел, словно молодая девица, от самых заурядных, правда, порою грубоватых шуток. Над этой его особенностью мы сперва посмеивались и однажды даже хотели обратить его

„в русскую веру". Когда же мы присмотрелись к нему поближе, то увидели в нем прообраз будущего человека в социалистическом обществе. Между нами и им была слишком большая разница, не заметить которой мы не могли. Глядя на него, и у нас пробудилось желание подтянуться, стать лучше и изжить свои недостатки. Мы даже организовали кружок самовоспитания на предмет изживания коллективным способом наших недостатков. В этом кружке следили за собою и в особенности за своим языком. Вековые заповеди, вроде „мели, Емеля—твоя неделя" или „язык—мясо без костей, сбрехнет и не сломается", перестали служить оправданием.

По внешности нашему инструктору было лет двадцать пять. Его продолговатое лицо и горбатый нос, покрытые редкими оспинками, носили отпечаток чего-то старческого. Но светлые глаза были полны жизни и дышали еще непочатой молодостью. В партийном деле он был, очевидно, новичком и еще не успел привыкнуть к своей кличке, почему иногда и сам на нее не отзывался. Кто он был на самом деле, мы не знали. Однажды он принес с собой „в лабораторию" книгу по химии. В ней оказалось много мест, подчеркнутых карандашом, и заметок на полях. На эти места инструктор то-и-дело обращал наше внимание и требовал заучивать их. Отсюда мы и вывели заключение, что книга его собственная, что он—студент-политехник. На чистом листе книги были инициалы ее владельца, но они уже выветрились из памяти. От дальнейшего расследования мы воздержались, не желая смущать его и боясь, что он покинет нашу лабораторию. После я слышал, что он перешел из боевой организации в военную, работал среди офицеров в Питере и Севастополе, а затем долго сидел в Петропавловской крепости и наконец его сослали в Якутскую область на поселение[1].

[1] По словам просматривавших эти рукописи Н. Л. Мухина, бывшего в начале 1905 г. пропагандистом за Невской заставой, и В. Н. Филипповского, участника офицерской организации, инструктором был Владимир Васильевич Буянов, умерший 26 сентября 1923 г. Буянова сослали в Якутку на 5 лет по делу партийной организации офицеров Костенко и др.

as: K18-30

90 : К18-35

Совет раб.

депутатов голосовал по мандатам, и мелкие предприятия взяли перевес. Резолюция Совета находила необходимым отказаться от немедленного осуществления 8-часового рабочего дня. В резолюции еще было сказано, что где возможно рабочие могут продолжать борьбу за 8-часовой рабочий день. Но это было уже хуже, чем полный отказ, так как отдавало рабочих отдельных заводов во власть заводчиков. И вот у нас снова бурное собрание, на этот раз прямо в переулке на незастроенном пустыре. Кругом солдаты, казаки, на тумбе сидит генерал и около него целый штаб офицеров... Снова революционные речи рабочих и просьба депутатов о наказе по ликвидации локаута. Рабочие признают, что началось отступление на одном из главных участков, и говорят: если Совет решил прекратить борьбу за 8-часовой рабочий день, то отступление надо сделать стройно и по всей линии, не входя ни в какие компромиссы с фабрикантами и заводчиками...

За Невской заставой было очень сильное движение за продолжение борьбы. Собрания были часты, приезжали ораторы от Совета и убеждали рабочих, что разнобой между районами причинит больше вреда, чем отказ от 8-часового рабочего дня. Нам все время доказывали, что на первом месте должна стоять политическая борьба, что окончательная победа над самодержавием должна предшествовать введению восьмичасового рабочего дня. „На этом нас и взяли"—как говорили тогда рабочие. Но, особенно после ноябрьской забастовки, трудно было отделить самодержавие от капиталистов, и мы почти поголовно были уверены, что Совет сделал ошибку. Нам казалось, что наши враги чутко улавливают колебание Совета.

13 ноября из окон Александровского механического завода, выходивших на Шлиссельбургский проспект, было произведено несколько револьверных выстрелов в казачий разъезд, при этом были убиты офицер, казак и одна лошадь. Кто стрелял—неизвестно, возможно, что это сделали черносотенцы по заданию правительства с целью ожесточить казаков против рабочих. Войск

за Невской заставой было от десяти до пятнадцати рот, не считая казаков и драгунов, и они вполне устроили бы нужное побоище, но им как будто чего-то нехватало—то ли решимости, то ли почина со стороны рабочих. Действительно, после стрельбы казаки ворвались на завод и многих рабочих тяжело избили, из них четверо умерло.

Убитым рабочим устроили торжественные похороны, несмотря на то, что в ночь накануне их всю Невскую заставу заняли полки 24-й дивизии. Но войска немного опоздали, так как вследствие полицейской попытки выкрасть из покойницкой трупы рабочие заняли больничный двор и весь Муравьевский переулок ночью по сигналу из одного завода. Утром в похоронном шествии приняло участие все население заставы. Солдаты стояли шпалерами в два ряда по обеим сторонам проспекта версты на четыре. Между рядами сверкающих на солнце штыков десятки тысяч голосов мощно пели:

„Вы жертвою пали в борьбе роковой"...

Но день прошел благополучно, а ночью началось разоружение рабочих. Всю Невскую заставу разбили на небольшие участки. Их окружали сплошным кольцом солдат. Внутри действовали жандармы, охранники и полицейские. Черносотенцы указывали подозрительные дома и квартиры. Они слышали, что за Невскую заставу революционеры привезли много солдатских винтовок и зарыли их в сохранном месте. Кое-где пробовали делать раскопки, но земля уже замерзла, и из попыток ничего не выходило. Все же повальный обыск обнаружил много оружия, главным образом холодного, которое и увезли в город. Во время этого обыска жандармы захватили врасплох на Смоленском проспекте одну квартиру, в которой рабочие не успели спрятать ни бомб, ни оружия. Они оказали жандармам вооруженное сопротивление. Была перестрелка, бросали и бомбы. После первых потерь жандармы и городовые отступили, а затем дом стали обстреливать солдаты. В темноте двое рабочих убежали из квартиры, а двое или

а/с

трое, израсходовав к утру бомбы и патроны, покончили самоубийством.

Солдаты оставались за Невской заставой несколько дней. Их присутствие совершенно связало руки боевикам. Черносотенцы же в это время распоясались вовсю. Во главе их стали три брата Лавровых, Снесарев—рабочие Семянниковского завода, и Никон—с Александровского. Все они были достаточно развиты в умственном отношении и являлись убежденными врагами революции [1].

Все пятеро упомянутых черносотенцев занимали в Невском отделе „Союза русских людей“ руководящее положение. Скоро они стали работать и как охранники. Без их участия не проходило ни одного обыска, ни одного ареста. Однако основной вред их состоял не в этом. Гораздо большее зло они причиняли рабочим теми обысками, которые они производили самостоятельно и без полиции. В таких случаях черносотенцы забирали вместе с нелегальной литературой деньги, одежду и все имевшее какую-нибудь ценность. Под видом обыска на рабочих обрушивалось материальное разорение в самую трудную пору всеобщего обнищания, когда иная вещь, пригодная для заклада в ломбард, часто оказывалась последним спасением семьи от голода.

[1] Из них только один Лавров дожил до Февральской революции. В апреле 1917 г. он „легализовался“ и вновь появился за Невской заставой. Падение самодержавия унесло с собою возможность черносотенной организации в рабочей среде. Лавров остался один и тем не менее он не перекрасился, а начал агитировать за черную сотню. В те дни всеобщего упоения молодой свободой рабочие отличались поразительной терпимостью к чужим убеждениям. Агитация Лаврова не встречала препятствий, она, правда, не дала ему и ни одного приверженца. В начале лета, когда политическая атмосфера уже значительно накалилась, рабочий Семянниковского завода, социалист-революционер Федоров застрелил Лаврова среди белого дня. Случайное, но знаменательное совпадение: Лавров был убит как раз против того места, где он сам, двенадцать лет тому назад, убил Мухина. Кровь черносотенца окрасила правый тротуар проспекта, а кровь социал-демократа — левый...

Наше молодое, только что поднявшееся на собственные, еще неокрепшие ноги, рабочее движение требовало прежде всего единства. В период общего подъема это понимали все. Поэтому участие некоторых рабочих в черносотенных организациях воспринималось очень болезненно. Хотелось верить, что у всех рабочих одна душа и одни думы, а наличие „союзников“ из нашей среды являлось живым и неприятным опровержением этой истины.

До появления активных черносотенцев перед нами было одно дело рабочего класса. И для нас в ту пору было важно его единство. Мы знали, что идущая навстречу интеллигенция понимает сущность и укажет нам, где можно оступиться в канаву. Единства рабочих не разбила бы и целая армия черносотенных агитаторов, если бы она появилась со стороны, из города. Совсем другое дело свои рабочие, невско-заставские. Их жизнь проходила на глазах у многих. Люди видели, что черносотенцы как-то умеют устраивать свою жизнь, что значок „Союза русского народа“ создает особое, привилегированное положение. Это не могло не действовать на слабых духом, не уверенных в успешности самостоятельной борьбы рабочего класса за свое освобождение. С другой стороны, что, пожалуй, важнее всего, на примере союзников стали учиться и наши рабочие. Если черной сотне, защищающей царя, все позволено, то почему я не могу позволить себе крайних средств в борьбе за рабочее дело? Вот приблизительно что думал недоразвитый массовик-рабочий. А в результате, при отливе революционной волны, началось раздробление рабочего движения. Социалистические партии уже не те. Наметились группы недовольных партиями вообще. В январе 1906 г. у нас за Невской заставой появились анархисты, а дальше—больше: сперва максималисты, потом махаевцы, а все в своей совокупности породили „групповодство“, о котором речь впереди. Это устремление к крайним левым, как мне кажется, было не продуктом проработки пережитого опыта, а лишь разложением массового рабочего движения.

С разоружением Невской заставы совпал призыв Совета рабочих депутатов и партий к подготовке вооруженного восстания. Необходимость его стала очевидна для всех. Все видели бесплодность мелких, частных выступлений, и оставалось готовиться к решительному бою.

Подготовлять нас начал новый начальник боевых дружин „Григорий Петрович". Он собирал боевые десятки на кружковые беседы „по истории и теории баррикадного боя". В своих рассказах он знакомил нас с уличною борьбою, главным образом во времена Великой французской революции и Парижской коммуны; сам он изучил этот вопрос в бытность свою за границей. „Григорий Петрович" перечислил все, из чего можно сделать баррикады, и добавил, что дисциплинированное войско больше всего расстраивается под неожиданными и частыми ударами неуловимого противника. Поэтому в уличных боях лучше всего действовать небольшими подвижными отрядами, примерно десятками. После такого вводного курса мы запаслись инструментом—топорами и поперечными пилами, а затем под руководством того же „Григория Петровича" составили подробный план улиц Невской заставы и части города, прилегающей к ней.

Вооруженное восстание было моей мечтой. В нем я надеялся принести какую-нибудь пользу и, если понадобится, сложить голову. Я был молод, меня переполняло жертвенное настроение, и мне часто хотелось, ради осуществления в будущем социалистического строя, итти теперь на любые муки.

События этих дней неуклонно толкали рабочих к вооруженному выступлению. В последних числах ноября арестовали председателя Совета рабочих депутатов Хрусталева-Носаря. Очень немногие из нас знали и видели его, но это не играло никакой роли, и мы от имени нашего завода потребовали объявления всеобщей забастовки, чтоб заставить власть немедленно освободить арестованного. На собрании по этому поводу рабочие указывали, что правительство проверило боевую подготовку рабочих разоружением Невской заставы, а теперь арестом председателя Совета проверяет их готовность и способность защищаться. Если,—говорили ораторы,—спустить без решительного выступления и этот маневр, то это означает, что мы сами ободряем правительство бросить на нас все свои силы. Особенно резко говорил слесарь Корнеев—молодой и развитой рабочий, выходец из семьи служащего. Он обрушился на Совет за его увлечение жестами, бьющими на эффект, в то время как нужно было дать сигнал о начале боя. И Корнеев напророчил ближайшие события. Через неделю арестовали весь Совет. Вместо выступления нам предложили выбрать новых депутатов и ждать решения нового Совета. Выбрали депутатов, но теперь Совет должен был собираться конспиративно. Собирался Совет или нет—не знаю, но он точно в воду канул. О нем не стало ни слуху ни духу. Впрочем однажды кто-то из комитетчиков упомянул, что обязанности Совета по подготовке вооруженного восстания выполняет Исполнительный комитет. Но это было уже не то. Исполнительный комитет, может, и играл в Совете главную роль, но для рабочих он оставался в тени и казался только канцелярией.

Мы ожидали призыва к выступлению. Но приехал „Григорий Петрович" с сообщением, что партийные комитеты считают невозможным вооруженное восстание в Питере. После кронштадтского восстания правительство тянуло в столицу войска со всего округа. Прибывшие воинские части были надежны и легко могли разбить плохо и мало вооруженных рабочих. Отказ от вооруженного восстания возмутил всех боевиков, в том числе и меня. На другой день мы на своем общем собрании предъявили „Григорию Петровичу" требование немедленно объявить вооруженное восстание. Но он предложил нам от имени питерского комитета ехать добровольцами в Москву, где уже начинались бои. Охотников нашлось много.

Я уехал дня через два в группе восьми человек. До Москвы добрались благополучно. Явка у нас была в какую-то „Нормальную" столовую на Никитской улице. Нужная особа встретила нас неприветливо, точно мы

as ; K17-36

до: К17-38

И вот по фабрикам и заводам снова митинги, революционные речи и боевые резолюции протеста, рабочие требуют или освобождения арестованных депутатов или назначения суда над ними самими, и тысячами подписываются под резолюциями. Эти митинги возникают сами собой, проходят без участия партийной интеллигенции, которую, кстати сказать, они захватывали врасплох, и заканчиваются уличными демонстрациями с песнями и красными знаменами. Но суд отложили, и снова в районе падает настроение. Потом Думу разогнали. Через несколько дней в лесу читали „Выборгское воззвание“, но народу собралось мало. Восстал Кронштадт, Свеаборг. Мы стали выбирать депутатов в новый—третий—Совет, но на выборы от Семянниковского завода пришло человек триста. На остальных заводах и фабриках число избирателей иногда опускалось до десятков. Внезапно нахлынувшая волна откатилась еще быстрее...

III Сов.

Городская управа организовала общественные работы. Нужно было в Галерной Гавани поднять улицы на сажень кверху, чтобы Нева, когда случалось наводнение, не заливала домов и хибарок. Кроме этого на Масляном буяне, недалеко от Троицкого моста, открыли общественные мастерские. Организацию работ взяли в свои руки безработные, во главе которых стоял Совет под председательством социал-демократа Войтинского-Петрова. Совет установил восьмичасовой рабочий день с одинаковой для всех рублевой платой, без сдельных и сверхурочных.

Я пристроился на клепку мостовых пролетов. Все работали усердно, чтобы „отцы города“ не упрекнули в лодырстве. Однако этого избежать нам не удалось, хотя совсем не по нашей вине. В мастерских нехватало технического персонала, почему наш первый блин вышел комом. Мы сделали пролет длиною в семь или восемь сажен, но когда перевернули его, оказалось, что скосили не туда, куда следовало по чертежам. Угол был градусов на тридцать, и другой конец пролета убегал в сторону далеко от нужного места. Опозоривши таким образом звание сознательных рабочих, мы принялись

расклепывать. Это была не работа, а пекло, многие сбежали, у остальных выветрился порыв, и мало-по-малу мы перешли к наверстыванию поденщины. Кругом почувствовалась распущенность, и скоро потянуло вон из общественных мастерских.

В это время я познакомился и как-то быстро сдружился с Гришей Пинаевским. Он работал в малярном цехе Вагонных мастерских и входил в боевую дружину районного комитета. Ему было лет двадцать, но он был уже заметным работником в партии. Из всех моих знакомых партийных товарищей, кажется, только для одного Гриши обстоятельства складывались довольно благоприятно. Два его старших брата примкнули к революционному движению еще в конце девяностых годов. Под их влиянием Гриша стал социалистом раньше, чем поступить на завод, и потом, когда другим приходилось усваивать новые взгляды, перестраивать себя на иной лад, он уже мог подходить сознательно к окружающей действительности. Должно быть, такая необычная подготовка и сделала его ярым революционером-фанатиком. По словам Гриши партия была главной паровой станцией. Она должна передавать движение по всем направлениям. Партийный террор должен был, как паровой молот, крушить самодержавие со всеми его слугами и добровольными прихвостнями. Каждый удар этого молота должен был, подобно громовому раскату, будить общество. Ни одна партийная организация не должна была в это время „мух ловить“, но внедрять своим словом в сознание народа программу партии. Дальше речь касалась нелегальных типографий, прокламаций, библиотек и кружков. Все они действовали как по-писаному, и Демократическая республика водворялась в России еще до созыва второй Государственной думы. К этому нужно прибавить, что Гриша был патриотом Невской заставы, проповедывавшим ее всероссийское значение. Этот человек, с монгольским профилем и провалом двух зубов, выбитых казацкой нагайкой на первомайском празднике труда, своей порывистой и как будто несвязной речью удивительно тормошил своего собеседника.

до: К18-38

своего района. В это время общегородская боевая организация, по непонятным тогда для нас причинам, никак не могла наладиться. С начала года было сделано до десятка организационных попыток, и все они кончались арестами еще до начала боевых выступлений. Охранка арестовывала боевиков пятками и десятками, а раз захватила даже больше двадцати человек. Эти полицейские погромы совсем не задевали районных боевых дружин. В результате создалось такое положение, что „Пе-Ка", как тогда называли Петербургский Комитет, намечал боевые дела, а выполнить их своими силами ему никак не удавалось. И вот нам поручили уничтожить на Выборгской стороне одного полицейского пристава, виновного в избиении женщин, выброшенных с какой-то фабрики. Его фотографию нам переснял наш партийный фотограф Яковлев. Мы осмотрели местность и наметили для действия площадь, где останавливалась паровая конка.

Назначенный день оказался солнечным. Около часа нам пришлось ожидать в Лесном парке. Там, разглядывая длинноногих козявок, бегавших по воде небольшого пруда, меня дернуло за язык похвалить радостное настроение насекомых. Гриша Пинаевский что-то промычал, а третий—его звали „дедом" за его серьезность и склонность к старческим увещиваниям—начал рассказывать о деревенских лужах, в которых живут „полойнички"—лягушечьи головастики. Разговор был самый пустой, но он как-то необычайно возбудил во мне размышления о жизни.

Когда я занял свое место и приготовился, открыв предохранитель и подняв курок, мне только и думалось, как хороша жизнь, и как все радуется ей. О том, что через несколько минут я должен вырвать у врага жизнь, мне и в голову не приходило. И вдруг я увидел свою жертву. Полицейский шел прямо на меня. Солнце светило ему в лицо, и он только жмурился. Я рассмотрел его так же хорошо, как и сверкающий воротник на его мундире, и пропустил мимо себя. Пристав был уже шагах в десяти от меня, когда на противоположной стороне грянул выстрел. Я спохватился и тоже выстрелил, но пристав уже лежал на тротуаре.

Коночная публика и уличные торговцы подняли суматоху. Мы благополучно скрылись через Лесной парк. Казалось, все прошло как следует, но через несколько дней меня вызвали в лесок, называвшийся „царским городком", и там я попал под партийный суд.

Виноват во всем был „дед" со своими головастиками, но отвечать, почему я не стрелял, зная, что обязан выстрелить, пришлось мне одному. Мой обвинитель уже заговорил о том, что в такого рода делах надо отбросить всякие товарищеские чувства и брать только голый факт, иначе-де среди нас легко найдут себе место и полицейские благожелатели. После его речи мне стало понятно, что со мной шутить не намерены, и я просил отложить суд, пока подвернется случай доказать, что в Лесном с моей стороны не было ничего злонамеренного. „Дед" настаивал на полном отводе меня от боевой деятельности, но остался в меньшинстве и в знак протеста сам ушел из боевой организации на общепартийную работу.

Через неделю после суда мне пришлось стрелять в черносотенца, младшего Лаврова, и на этот раз я уже ничего не видел перед собою, кроме врага рабочих и слуги царя. Мелкий террор, который мы развернули довольно широко, совпал с новым приливом общественной волны. Рабочая масса снова заколыхалась и довольно благоприятно судила наши дела. Черносотенцы ушли в подполье и служили уже как платные охранники. Несколько наших дружинников, с согласия районного комитета, работали по обнаружению Юскевича-Красковского, Сашки Поломнева и „Гамзея Гамзеевича", убивших депутата Государственной думы Герценштейна. Этой работой руководил какой-то присяжный поверенный с целью доставить упомянутых черносотенцев в финляндский суд и там доказать причастность к убийству русского правительства. Дело было интересное, но я стоял от него в стороне и всех подробностей не знаю.

Последним террористическим предприятием, в кото-

ром я участвовал, прикрывая исполнителя, было убийство полицеймейстера Шереметова, организатора еврейского погрома в Белостоке (или Седлеце?), переведенного в Питер на должность участкового пристава. Организатором этого дела, если не изменяет мне память, был студент Михаил Латкин, но его арестовали за неделю до назначенного срока. Уже после его ареста мы избрали местом террора левую сторону Забалканского проспекта между домами № 6 и 12, рассчитывая на проходные дворы в Горсткину улицу и удобство отступления как на Сенную площадь, так и на Фонтанку.

Стрелял нелегальный „Ваня“—рабочий с завода Лесснера. Все пять пуль попали в лицо и шею Шереметова, но ни одна из ран не оказалась смертельной. „Ваня“ по ошибке заскочил не в проходной двор, а когда выбежал обратно и направился к Садовой улице, навстречу ему показались конные городовые. Они ехали по середине проспекта тихим шагом, и, очевидно, еще не знали, что произошло за минуту до их появления. „Ваня“ уже повернул к Фонтанке. В этот момент грянул духовой оркестр какой-то роты солдат, возвращавшейся из караула. „Ваня“ заметался и снова бросился во двор, выстрелив по пути в старуху, которая попыталась подставить ему под ноги свой костыль. Через мгновение он опять выбежал на Забалканский проспект, но лишь затем, чтобы выстрелить себе в рот. На него набросился дворник с метлою, но мне удалось через проспект подстрелить его. Когда я подбежал к „Ване“, он был уже мертв.

В этом деле мы не особенно надеялись на удачу, так как имели сведения, что Шереметов постоянно окружен надежной охраной. Он должен был усилить ее еще после того, как получил партийный приговор с приложением кинжала. Исходя из таких соображений, было решено стрелять пулями с цианистым кали. Иногда яд применяли и раньше, закладывая его в крестообразный надрез лобзиком оболочки пули, но тогда отравления не получалось. На этот раз в пулях были сделаны углубления дрелью, и яд прикрыт пленкой коллодия, чтобы он не выпал при выстреле. Но, вероятно, пули потеряли свою силу и не пробивали скуловой кости. Этот вопрос заинтересовал меня, и я расспрашивал всех причастных к боевой работе с отравленными пулями. Таких боевиков на воле я встретил немного, и все они отвечали то же самое, как и встречавшиеся после на каторге, что неудачное попадание нисколько не довершается действием яда. Вопрос об этической стороне отравления пуль для меня лично возник только на каторге. На воле же мне казалось обязательным лишь уничтожить врага не мытьем, так катаньем. И логика тогда была проста: если я ношу в кармане облатку с ядом и обязан ее проглотить раньше, чем буду схвачен врагом, то почему вперед не застраховаться от его рук?..

Осенью настроение рабочей массы уже было отливным, и сама масса пережила свою былую однородность. Еще выступления на арену борьбы черносотенцев поставили перед частью рабочих вопрос об оценке деятельности партий. Время только обостряло этот вопрос, и теперь почти на каждой массовке некоторые рабочие обвиняли в недостаточной решительности как социал-демократов, так и социалистов-революционеров. Подобные обвинения особенно стала развертывать молодежь мелких заводов, на которых сплошь и рядом партийные организации были слабы. Их руководители часто оказывались новичками в революционном движении, что, однако, не мешало им проявлять оппозиционное настроение по отношению к вышестоящим комитетам. Следом за ними шла молодежь непартийная и еще не участвовавшая в пережитом революционном движении, но безусловно настроенная активно-революционно. Она хотела дела сейчас же и в своем порыве принимала средства за цели борьбы. Из общей агитации она только улавливала то положение, что переживаемое время—не время массовых выступлений. А раз так, то, значит, настала пора действовать небольшими группами. И вот, на каждом заводе и в каждой мастерской стали сами собой возникать боевые группы молодых рабочих. Все они начинали свою деятельность с сочинения устава, который должен был заме-

нять партийную программу. Таких уставов мне довелось прочитать несколько. Очень сходные по содержанию, они значительно расходились в словесном выражении и все говорили о том, кто может быть членом группы и как он должен действовать. Дальше в них упоминалось о свержении самодержавия. Но ни в одном из них мне не припоминается определения ни существа рабочего класса, ни его задач. Мне попал в руки даже один устав, требовавший присяги и угрожавший карой за измену, но и в нем не было сказано, за какой строй группа будет бороться.

До поры до времени все эти группы ограничивались одними разговорами. Они еще не имели средства на оружие и не знали, где их можно взять. Но вот где-то и кто-то устроил удачную экспроприацию и тем самым сразу показал выход из безденежного положения. Точно по приказу из единого и авторитетного центра, в рабочий район ворвалась волна экспроприаций. Вначале они все были удачны,—очевидно, хозяева денег надеялись на полицию, а полиция—на только что введенные военно-полевые суды. Первые успехи окрылили групповцев. Они привозили из Финляндии десятки браунингов и действовали во-всю. Теперь задачей каждой из них было вооружиться, а там можно взяться и за террор. Но перейти к террору пыталась только одна группа, которая скоро убедилась в его трудности и решила, что будет лучше, если она нужную сумму денег передаст какой-либо партийной организации. Остальные группы увлеклись экспроприациями. Почти ни одной из них нельзя отказать в известной доле своеобразного героизма. И рабочая масса оценила это движение по-своему: она хладнокровно выслушивала противоэксовские речи. Некоторые громили порок, но все видели, что дело не так просто: людей двигала не алчность к личной наживе. В такой обстановке групповое движение эксистов росло так, что за Невской заставой, кажется, не осталось ни одного торгового заведения, не подвергавшегося экспроприации, а пивные лавки и ренсковые погреба экспроприировались по несколько раз. Этот боевой активизм подменил собою революционное действие, и потому кадры экспроприаторов меньше всего пополнялись рабочими, прошедшими партийные кружки. Пена мутного прибоя хлестала в рабочие низины и оттуда выхватывала даже детей. Так, в селе Александровском, около Обуховского завода, жила семья рабочего Макарова. После смерти отца десятилетний Ванька остался оборвышем. И вот свое бедственное положение желая поправить, этот Ванька подбирает трех или четырех своих сверстников. Они делают себе деревянные браунинги и, выкрасив их черным лаком, тоже отправляются на „экс“. Дети-экспроприаторы закатились в большой одежно-обувной магазин и, выбрав себе по ноге пару штиблет, скомандовали „руки вверх“. И „дело“ прошло благополучно. Начав таким образом „карьеру“, Ванька в 1910 г. стал уже Иваном Макаровым, а вдобавок и анархистом. Потом его арестовали за экспроприацию с настоящим оружием. Военно-окружный суд приговорил его, как не имеющего по малолетству прав ни на виселицу, ни на каторгу, в тюрьму сроком на 12 лет, которые он и отсиживал в „Крестах“, склеивая папиросные коробки.

Волна эксового разгула угрожала социалистическим партиям. В их рядах появились участники эксов. Некоторые проводили эксы даже партийным оружием. Таких стали исключать и силою боевиков обезоруживать.

Но даже эти меры не останавливали стихию. Партийная агитация и пропаганда стали почти невозможны. Нужно было держать за полы и осаживать назад в то время, когда люди рвались в бой. Тем не менее групповцы нанесли наиболее серьезный удар партиям. Группы только разбивали на куски цельную, пока бездейственную массу. Они только отвлекали ее внимание от непосредственных задач, стоящих перед рабочим классом. Беда надвигалась на партии с другой стороны. Упадочное настроение просочилось в партийные комитеты, и именно в это время охранка смогла запустить „свою руку“ в партийные организации. На первых порах несколькими арестами охранка расстроила налаженную работу. Тут стали выдыхаться партийные попутчики, примкнувшие к

движению в его цветущую пору. Они уходили, куда глаза глядят, и бросали дело на произвол судьбы. Их преемникам приходилось начинать все сызнова в самую трудную пору всеобщего распада. Да и с преемниками получалось неладно, так как при нужде в работниках меньше стали заботиться о хорошем подборе людей. И все неизбежные последствия такого положения не замедлили сказаться крайне трагически.

В Невском районном комитете появился организатор „Михаил Иванович"—человек, склонный к округлению и облысению, называвший себя студентом, но больше напоминавший отставного чиновника. К организационной работе он и не прикоснулся, но сразу взялся перестраивать боевую дружину районного комитета. Затевал ли он что-нибудь на самом деле, я не знаю. Нас, боевиков, этот „Михаил Иванович" совсем не касался и даже ни одного раза не приглашал на общее собрание. Но прошло недели три, и кто-то из комитетчиков попросил нашего боевика поторопить дружину с представлением оправдательных документов на выданные ей деньги около пятисот рублей. Материальными делами дружины ведала у нас комиссия, но она могла расходовать деньги только с согласия общего собрания дружинников, поэтому дело сразу потребовало выяснения, которое и поручили Мельдеру, Курапову, Морозову и Ланскому. „Дед", бывший в это время членом районного комитета, пригласил наших выбранных на заседание комитета, и они доказали там, что никто из боевиков денег не брал. Организатора приперли к стене и уличили в подлоге. Расследование дела перешло в районный комитет. Дня через три после этого на квартиру к Иосифу Мельдеру приехал член „Пе-Ка", старик с письмом. По его словам, псковская боевая организация просила помощи, и „Пе-Ка", пользуясь рекомендацией человека, заслуживающего доверия, постановил командировать в Псков перечисленных выше четырех товарищей. В тот же вечер у нас состоялось общее собрание дружинников, но нам пришлось только осмотреть письмо с сургучной печатью и согласиться на немедленный отъезд командированных. В ночь

они выехали, а через дня два пришла условная телеграмма, означавшая, что при неизвестной обстановке Мельдер и Куранов убиты, Морозов ранен, а Ланской скрылся. Полиция арестовала сестру Мельдера, Лизу, и увезла ее в Псков, где ей предъявили для опознания трупы, брошенные за городом в лесочке. Но картина псковского события вполне обрисовалась еще до освобождения Лизы, когда за Невскую заставу возвратились Ланской и Морозов.

Наши боевики доставили письмо по адресу ученика сельскохозяйственной школы, который назначил встречу у кадетского корпуса с тем, чтобы оттуда отправиться на собрание. Четыре псковича, таких же молодых, как и питерские боевики, шли в десятке шагов позади. За городом, когда начался перелесок, неожиданные выстрелы свалили Иосифа Мельдера и Антона Курапова. Морозова ударило в шею, и он инстинктивно бросился в кусты. Его пальто, накинутое на плечи, повисло на ветвях. В этот момент стрельба снова возобновилась, и Морозов побежал в сторону от свистевших пуль. Рана оказалась сквозной, но не опасной—Морозов перевязал ее разорванной рубахой и легко добрался до какой-то станции, с которой и возвратился в Питер через Москву. Ланской скрылся в кустах после первых выстрелов и приехал обратно другим путем.

Из этого рассказа установили только, что стреляли псковские боевики. Все растерялись и не знали, что думать. Районные комитетчики не верили. О письме из них никто ничего не знал, пока вызванный из города старик не сообщил, что командированные, по докладу районного организатора, признаны виновными в провокации. Самый же приговор исполнить поручили псковской организации по конспиративным соображениям. Этот старик числился в народовольцах, но был человеком крайне легкомысленным, любившим, чтобы ему оказывали почтение. Он не прочь был и выставиться слишком важной персоной в революции, особенно, если на партийном собрании была женская молодежь. Как легко его опутал „организатор", так же легко доказали ему коми-

тетчики, что никакой провокации не было, что налицо только месть за высказанное Мельдером обвинение в шантаже. Старик обещал приехать на другой день вместе с „организатором“, но как в воду канул и даже оборвал связи между районным комитетом и „Пе-Ка“. Вскоре удалось залучить в район „Николая Николаевича“—крестьянского работника, но он был не в курсе дел „Пе-Ка“. По его предложению районный комитет объявил себя распущенным, назначил новые выборы с тем, что вновь избранный комитет расследует дело. Непричастность к этому делу районных комитетчиков была настолько всем очевидна, что их всех снова избрали в комитет. Следственную комиссию избрали в составе трех человек и предложили боевикам прислать в нее своего представителя.

„Пе-Ка“ явно тормозил дело. Он не связывался с районом и не давал явки на Псков, а без нее комиссия напрасно съездила на место происшествия. Между тем Морозов не молчал. Через неделю все партийное население Невской заставы взбудоражилось до крайней степени. Среди нас многие требовали расстрела старика и клялись не пускать ни одного интеллигента за заставу. Вера на слово какому-то проходимцу, решение вопроса о жизни четырех товарищей без простой попытки проверить голые слова возмутили так, что негодованию не было границ. Мы ездили в город, там ходили по улицам, надеясь встретить старика или организатора, чтобы застрелить их при всякой обстановке. Но ни тот, ни другой не попался...

В атмосфере вражды к партиям и интеллигенции, накалившей отчасти и рабочую массу, появились максималисты первого пришествия. Среди них наиболее крупным считался „Борода“. Это был подлинный романтик от революции, любивший каждый пустяк показать в обстановке сугубой конспирации. В эти годы среди революционеров никто уже не прибегал ни к переодеваниям, ни к маскам—все это давно отжило и помнилось только в книжках сыщика Пинкертона, а „Борода“ в течение одной беседы успевал сменить пары две очков и столько

К? неужели Тал-ин??

Каховская 121-3

же фасонов наклеенной бороды. Оратор он был хотя и путаный, но увлекательный, особенно когда речь касалась „конченных революционеров“—Плеханова, Ленина и Чернова. Вслед за ним явился „Василий Петрович“—Ривкин—хороший организатор, но плохой парикмахер. Его сразу прозвали „разношерстный“, так как его голова, после собственноручной окраски, покрылась клочьями волос красных, черных, седых и зеленых. Эта пара организовала максималистские кружки, в которых сперва „Борода“ читал рефераты о трудовой республике, а потом пропагандистка „Ира“ повела систематические занятия. Эта „Ира“ была рослая девица, довольно веселая и симпатичная. Среди пропагандисток она казалась новым типом. Прежде к нам за Невскую заставу приходили и социал-демократки и социалистки-революционерки, но в них было нечто общее, заметное настолько, что пропагандистку можно было узнать даже в сумерки, когда все кошки кажутся серыми. Подпольная пропаганда как-то скоро обезличивала курсисток и делала их служительницами освобождения народа. У них даже агитаторские склонности как-то скоро затушевывались, и они уже не гнались за большим числом последователей, но вкладывали все свои силы и душу, чтобы дать своим ученикам руководящее начало. При таком подходе к делу из бесед изгонялось все частное, временное или касающееся одного человека. Скромно, без вычурной фразы, без жестов, бьющих на эффект, они манили к идеалу, который удваивал силы, звал на борьбу за лучшее будущее. Это пробуждение было так необычно, что вызвавшие его пропагандистки казались святыми, стоящими на недосягаемой высоте—не даром же они не усваивали нашего балагурства. „Ира“ была не такая. Она звала прямо на дело, отрывала своих слушателей от окружавшей жизни с ее упадочным настроением и застывшей рабочей массой. Надо было махнуть на все рукой, пока что-нибудь удастся из намеченной цели. Это тоже увлекало, но голове ничего не давало. И сама „Ира“ часто отодвигала свою пропаганду в сторону, чтобы поговорить о душевных переживаниях. По мере уменья

мы шли навстречу ей, и тогда она становилась рядом с нами, как простая смертная. Ко мне „Ира“ относилась особенно хорошо, и я настолько увлекся ею, что склонялся к максимализму и чуть-чуть не сломал на этом деле себе шею.

Максималисты „первого пришествия“ были люди идейные и денежные. Они организовали издательство, помещавшееся недалеко от курсов Лесгафта, которым заведывал „Ларчик“—Ремизов. Он издал хотя и мало книг, но зато в таком большом количестве, что не только распродать их, а даже раздать бесплатно было трудно. Первомайскую листовку „Ларчик“ выпустил на 16 страницах в формате журнала „Нивы“. Вообще максималисты размахнулись довольно широко, ни слов, ни бумаги не жалели, но жизнь их была недолговечна. Охранка произвела несколько арестов и сорвала всю головку. „Ира“ уцелела, но не смогла восстановить организации. Она решила опереться на невских боевиков, перешедших к максималистам, но многие из них еще не изжили „псковской трагедии“ и оказались неспособными к делу. По чувству симпатии я обещал „Ире“ посодействовать в добыче оружия и сам привлек к этому делу Николая Дмитриева. Нам удалось собрать только пять наганов, и когда мы привезли их на курсы Лесгафта, „Ира“ встретила нас с распростертыми объятиями. Но теперь оказалось, что, кроме оружия, нехватает и трех боевиков на тщательно подготовленное дело. Наши маузеры были с нами, и мы вдвоем согласились заместить трех боевиков.

Это было 20 марта 1907 г. Вскоре в студенческую столовку пришли „боевики Иры“—какие-то валеные сапоги с монастырского клироса! Но пятиться назад было поздно: через несколько часов нужно было действовать с людьми, первый раз увидевшими револьверы, предстояла экспроприация крупной суммы денег в квартире жандармского генерала на Могилевской улице. Выясняя обстановку, мы пришли к заключению, что наиболее тяжело будет обеспечить отступление, так как около дома имеется постоянная охрана. Эту обязанность мы и взяли на себя.

Когда мы приблизились к указанному дому, на улице уже горели газовые фонари. Подозрительных типов вблизи не оказалось. Боевики нырнули в парадный подъезд и во двор. Прошло минут пятнадцать, а потом зазвенели стекла разбитого окна. Выросший передо мною охранник скомандовал „руки вверх“. Я повторил его слова и поднял маузер. Мой первый выстрел свалил охранника, поднявшего руки. В этот момент я увидел, как три человека повалили Дмитриева на землю. Недолго думая, рукояткой револьвера я оглушил нападавших и вытащил на свет Николая. Но тут-то и заварилось настоящее сражение. Прибежавшие на помощь раненому охраннику городовые открыли перестрелку. Отстреливаясь, мы выбрались на Садовую улицу и сели в санки извозчика. Извозчик убежал. Лошадь помчалась. Впереди трещали свистки. Сзади продолжалась пальба. Минут через десять мы подкатили к толпе, которая с криками „они... они“ бросилась врассыпную. Мы снова очутились на Могилевской улице у генеральского дома. Надежда на лошадь пропала. Побежали. Перестрелка не прекращалась с полчаса, пока нас окружил мрак за Фонтанкой. Наконец мы заскочили во двор, кажется, 4-й роты Измайловского полка и зарылись там на свалке старого железа под груду листов. На свет вылезли ночью спустя два дня.

„Валеные сапоги“ исчезли с места происшествия бесшумно и незаметно. „Иру“ вскоре арестовали. За время нашей отлучки за Невской заставой совершилось „второе пришествие максималистов“. Во главе его стали светло-серые брюки и такой же пиджак с круглыми полами. Помню еще пышный бант из какой-то воздушной материи вместо галстука, но ни одной черты лица в памяти не сохранилось. Все это, вместе взятое, называлось „Григорий Саввич“. С этих пор максималисты ни издательской, ни пропагандистской деятельностью не занимались, чем и отличились от „первого пришествия“. „Григорий Саввич“ начал с организации боевиков и первым делом назначил освобождение „Иры“. В план входило все, начиная с веревочных лестниц, световых сигналов и кончая темной ночью, хотя в Питере уже насту-

пали белые ночи. Боевикам удалось связаться с сидевшей в тюрьме „Ирой“ и передать ей кое-какие вещи и ключ для шифра. Три раза назначались сроки, но каждый раз в самый канун их „Иру“ внезапно переводили в другую тюрьму. В „Литовском замке“ и „Доме предварительного заключения“ дело проваливалось как будто по оплошности „Иры“, но около пересыльной тюрьмы выяснилось, что главный боевик служит охранником и не организует побег, а лишь выбирает подходящий пустырь, на котором можно взять боевиков с поличным без посторонних жертв. „Григорий Саввич“ перекочевал в Выборгский район. Осенью его арестовали, но освободили на поруки Киевского губернатора, сыном которого он был.

Я отказался от боевой работы, а заодно и от максимализма. Небольшое размышление убедило меня, что итти вперед лучше тише, но с рабочими, чем быстро с разными хлыщами в серых брюках и сбродом охранников. Была весна. Хотелось немного уравновеситься, чтобы нелегальное положение не слишком дергало. Я уехал как бы на курорт в Гельсингфорс на бетонные работы. Большинство рабочих были финны, какие-то холодные и медлительные. Нас, русских, было десятка два—народ все с бору по сосенке, но в сравнении с финнами люди огневые. В наш барак почти каждый день приходил для легкой пропаганды и агитации один социал-демократ. Он когда-то убежал из черты оседлости и теперь говорил по-фински так же легко, как и по-русски. Его-то мы и взяли за бока, чтобы он помог нам разогреть финнов хорошим боем с финскими „активистами“, выступавшими среди рабочих-финнов. Их митингов мы не пропускали, хотя и не понимали ни одного слова. Было как-то чудно слушать их речи, о которых среди нас говорили, что „с такими речами не революцию делать, а молоко в Питер возить“. Хотелось посмотреть, что станет с финнами, если они услышат настоящую революционную речь. Наш социал-демократ согласился „отжарить на совесть“. Председатель митинга дал первое слово нашему оратору, как потом оказалось, для приветствия от русских рабо-

чих. Наш молодец не ударил лицом в грязь. Говорил он горячо и так убедительно, что и без смысла слов все было понятно: речь на незнакомом языке лихорадила и нас. А финны—хоть бы что! Сосут свои „носогрейки“ и ни единого признака оживления у них не заметно. С ответом выступил один финн-рабочий. Он говорил долго, но это была не речь, а нудное бормотанье между затяжками дыму из маленькой трубки-носогрейки. И тем не менее финны одобрительно ворковали. По словам нашего социал-демократа, говорил один из лучших ораторов-рабочих, но с нашей точки зрения этого оратора, замораживающего кровь в такие дни, когда и в Финляндии пот выступает, следовало без сожаления выкатить на тачке...

ГЛАВА V

К зиме—конец 1906 г. и начало следующего—прекратился дальнейший распад рабочего движения за Невской заставой. В эту зиму исчезло только обреченное на гибель. Основная толща рабочих, как будто застывшая в тисках мороза, копила силы к весеннему пробуждению. Началась подготовка к участию во второй Государственной думе. О бойкоте ее среди нас речи не поднималось. Подготовительная кампания открылась целым рядом партийных докладов в Корниловской школе. Рабочих собиралось на эти доклады всегда больше, чем вмещал раздвижной зал. В числе докладчиков по вопросам государственного строя России часто выступал Мякотин, а по аграрному—„Норский“. Их речи были немного академичны. Текущая политика, или, по тогдашнему выражению, „злоба дня“, как будто отодвигалась в сторону. Разбором ее больше всего занимался какой-то „Николай“, высокий человек со смуглым лицом, и только раз рабочие сами попросили „Норского“ осветить „текущий момент“. Социал-демократы совсем не выступали.

Время стояло военно-полевое, и тем не менее полиция не решалась запретить доклады, хотя она и знала о них.

Но однажды, в самый разгар речи „Норского“, полиция все же нагрянула в Корниловскую школу, и пристав объявил всех собравшихся арестованными. Несколько околоточных надзирателей стали переписывать всех поголовно. Жандармский генерал и охранник, в котором я после узнал Статковского, осматривали руки записанных, надеясь таким способом выловить интеллигентов-революционеров, и сортировали кого направо—в глубь классной комнаты, кого налево—к выходу на двор. Отбор тянулся медленно. В зале стало душно. Кто-то открыл окно, чтобы впустить в помещение морозный воздух. Немного погодя нелегальные полезли через окно со второго этажа на задворки Максвелевской фабрики. Следом за ними тронулись и рабочие, истомленные скукой ожидания. Жандармы и полицейские заметили этот маневр, когда школа разредилась уже так, что в ней осталось не больше тысячи человек. Дом окружили, а затем всю ночь водили в участок человек по сорок арестованных, окружив их пешими городовыми и конными жандармами. В участке свора полицейских прозерила указанные места прописки, и пристав всех задержанных распустил по домам.

На доклады в Корниловскую школу ходили преимущественно сознательные рабочие и они-то и оживили всю рабочую массу. К началу выборов уполномоченных масса заметно оттаяла. Почти каждая мастерская самостоятельно провела одно или два предвыборных собрания. И хотя на этих собраниях не бывало настоящих докладчиков и упорядоченных прений, они все же вполне отражали новое пробуждение рабочих. Говорили и возражали друг другу сами рабочие-массовики. В их речах не было ни полета в заоблачные выси, ни непоколебимой самоуверенности. Был трезвый подсчет своей силы, перечислялись реформы, без которых нельзя дышать рабочему человеку, все это замыкалось в небольшой круг четко формулированных требований, неразрывно связанных с переживаемыми днями. И тем не менее из каждого слова, произнесенного на этих собраниях, явно выступала резкая грань, отмежевывавшая рабочих от правящего

класса, и был ощутим духовный рост рабочих за минувшие два года. Так, например, когда вопрос коснулся письменной просьбы, адресованной рабочим трактирщиком Зубком о снятии с его трактира и дома бойкота, наложенного в предыдущем году, рабочие подошли к разбору дела с точки зрения своей чести и последовательности. Трактирщик Зубок предлагал за удовлетворение своей просьбы 10 000 рублей в пользу безработных или какой-либо рабочей организации. Сумма по тем временам немалая, особенно при наличии массы безработных. И не было бы ничего удивительного, если бы рабочая масса взглянула на эти деньги как на возможность несколько облегчить бедственное положение. Однако они, одобрив отказ Зубка поддерживать черную сотню, бойкота не сняли, так как перерешение одного вопроса могло привести рабочих к колебанию в других, более серьезных делах. Когда же собрание утвердило ответ Зубку, то один рабочий предложил произвести денежный сбор в пользу безработных среди рабочих, чтобы их решение не нанесло ущерба своим же товарищам.

И вообще теперь у рабочих было иное отношение к событиям. Раньше вся оценка делалась с точки зрения вреда, который причинялся полиции или фабрикантам. Теперь меркой становилась польза рабочего класса. И это особенно сказывалось на отношении к боевой деятельности „максималистов второго пришествия“, которая очень усилилась в апреле и мае 1907 г.

Во главе боевой дружины максималистов стоял ученик Псковской земледельческой школы Николай Любомудров, руководивший расстрелом наших товарищей в Пскове. По выступлениям дружины можно было думать, как многие и делали, что Любомудров—отчаянная голова, полная беззаветного героизма. Он больше всего занимался „эксами“, но в двух своих террористических делах выступил как защитник рабочих.

1 мая работницы фабрики Чешера устроили на фабричном дворе митинг. Явилась полиция и, разгоняя собравшихся, так избила их, что у некоторых женщин случились выкидыши там же на дворе. Избиение возмутило

рабочих всех районов. Любомудров решил ответить на него избиением городовых. 7 мая в 9 часов вечера дружинники, рассыпавшись по всей Выборгской стороне, открыли стрельбу по полицейским постам, не исключая и подъезда полицеймейстера. Но такое широкое нападение окончилось лишь убийством одного городового и поранением другого. Оно произвело впечатление на полицейских не столько жертвами, сколько самым фактом стрельбы в прямых участников избиения женщин. Городовые разбежались с постов, а потом целой шайкой потребовали своей отставки.

В том же месяце Городская управа перевела общественные работы в Галерной Гавани с поденной расплаты на сдельщину. Такой переход не понизил заработка, но ограничил дальнейший рост числа работающих. На этой почве проявилось недовольство даже в Совете безработных, но оно не успело ничем разрешиться благодаря вмешательству в дело Николая Любомудрова.

Раз в неделю комиссия городской управы осматривала общественные работы, которыми заведывали инженеры Берс и Нюберг. „Отцы города" разгуливали по насыпи и разговаривали с безработными. В такой момент два любомудровских боевика и застрелили упомянутых инженеров. Убийство произошло так неожиданно, что ошеломило в одинаковой мере и комиссию и рабочих. Боевики ушли не торопясь. Полиция появилась спустя час и, разумеется, никаких следов виновников не обнаружила.

Дело об этом убийстве инженеров характерно для царской юстиции... Вскоре после убийства в газетах появилась заметка, что в военно-окружном суде назначено к разбору дело двух убийц инженеров. Два дружинника, совершившие убийство, находились на воле, и они послали по открытке в охранное отделение и в военный суд с сообщением, что произойдет судебная ошибка, если осудят людей непричастных. Однако их заявление не помогло: двоих приговорили к смертной казни, которую по ходатайству суда заменили каторжными работами. Но прошло еще месяца два, и военно-окружный суд снова осудил двоих, также не имевших никакого отношения к этому

делу. Были осуждены на этот раз социал-демократ латыш Пальм или Пальминь и Иван Яковлевич Перевалов. Из них Перевалов не имел никакого отношения к революционному движению. Он был хорошим столяром-краснодеревцем и до осени 1904 г. работал в Академии художеств, выполняя разного рода декоративные столярные задания. В конце 1904 г. он был принят на военную службу, но не захотел воевать с японцами, дезертировал и, оставаясь в Питере, перешел на нелегальное положение. Средства к жизни он добывал биллиардной и карточной игрой и мелкими уголовными проделками. Вращался он все это время в среде мелких воришек и прочего такого же уголовного люда. По доносу одного из таких воришек, избитого Переваловым за кражу у него галош, он был арестован и обвинен в причастности к убийству Берса и Нюберга. По внешности ни Перевалов, ни Пальм не походили ни на одного из двух участников этого дела. Но так как Перевалов жил нелегально, имел кличку „Крохобор" и доказать своей непричастности не смог, его присудили вместе с Пальмом, впервые в жизни встреченным им на суде, к смертной казни, которая по ходатайству суда была заменена им бессрочной каторгой. Перевалов, отбывая каторгу во Владимирской тюрьме, не примкнул к политическим, но и с уголовными не слился полностью, хотя держался ближе с ними до самой революции 1917 г., когда его освободили по настоянию политических как невинно осужденного. Пальм отбывал каторгу в Вологде вместе с максималистом „Хохликом", действительным участником убийства, но осужденным на 8 лет за какую-то экспроприацию.

Эти два события—нападение на городовых и убийство инженеров—направленные боевой дружиной максималистов якобы на защиту рабочих, казалось бы, должны были найти сочувственный отклик в рабочей среде. Но ничего подобного не случилось. По поводу покушения на городовых приговор рабочих был короток и далеко не в пользу максималистов:—теперь фараонов бьют и грудные младенцы. Надо смотреть глубже... Убийство же инженеров было прямо осуждено, хотя рабочие при этом

и раскололись. Меньшинство одобрило действия с.-д. Войтинского, который вместе с Советом безработных ходил на похороны и возложил на гробы венки от имени рабочих. Большинство, осудив дружину, было против публичного выявления своего отношения, чтобы тем самым не дать козыря в руки властей.

На массовке, обсуждавшей эти события, рабочие говорили, что не всякий благодетель полезен рабочему делу, которое де заключается не в уничтожении мелких сошек, а в последовательной борьбе с самодержавием. Эти речи рабочих были как бы ответом на экзамене после двухлетней революционной школы. Мне они кажутся до сих пор хорошей мерой рабочего самосознания, но, к сожалению, восстановить их по памяти я не могу. Однако и помимо речей тогда было много мелких фактов, бесспорно доказавших, что прежнего рабочего, молчаливого быдла, снимающего шапку и немеющего перед ясной пуговицей, уже не существовало. И любо-дорого было встретить на проспекте пролетария с фуражкой на затылке, в замасленной блузе, распахнутой на груди, который, не обращая внимания на встречный казачий разъезд, задорно поет полным голосом:

«Отречемся от водки и пива
И наляжем на клюквенный квас...»

Время заседаний второй Государственной думы, когда легально выходили социалистические газеты, было оживленной полосой в политической жизни рабочих. Каждый завод и каждая фабрика вырабатывали свой наказ депутатам, упорно проводя свои требования. Мне вспоминается, как на Семянниковский завод явился депутат Алексинский. Встретили его хорошо, но недурно и отчитали за слабую защиту интересов рабочих и ненужное выпячивание депутатского героизма.

Но вот Думу разогнали. Рабочие как будто ждали призыва к выступлению. Кое-где снова были выборы в Совет рабочих депутатов. А потом все как водой смыло... Невская застава была объявлена на чрезвычайном положении. На проспекте и уличных перекрестках

поставили вместо одиночек тройки городовых с ружьями. Собрания по фабрикам и заводам воспретили. В перелесках зашныряли казачьи разъезды. И скоро началась ликвидация революционного движения.

До этого времени все партийные комитеты существовали полулегально. Для полиции они находились в подполье, но рабочие хорошо знали не только где они собирались, а и кто в них заседал. Полицейский погром заставил комитетчиков и многих рядовых партийцев перейти на нелегальное положение. Днем на улицах уже перестали мелькать кумачевые рубахи социалистов-революционеров и черно-сатиновые социал-демократов. Люди так же свертывались, как и организации. Еще не завершился партийный разгром, как полицейские удары посыпались сперва на профессиональные союзы, а потом и на кооперативные лавки.

Так полицейское наступление, начавшееся еще до созыва второй Государственной думы, развернулось летом во всю ширь и глубь и стало видимо на каждом шагу. И теперь всё заговорило о том, что песня революционного движения уже совсем спета. Наступали сумерки реакции. Но разговоры о поражении революции поднимались на товарищеских вечеринках и прежде. Вместо задорно-бодрящих песен становилась любимой „Тянутся по небу тучи тяжелые“. Кругом создавалось угнетающее настроение, и как будто ему отвечали тяжелые слова.

«Горе проснувшимся в ночь безысходную,
Им не сомкнуть своих глаз».

И тогда уже многие искали выхода своим душевным переживаниям в отказе от борьбы и от жизни. Я помню одно сражение таких больных с людьми здоровыми. Оно произошло неожиданно на вечеринке „у отцова сына“, как тогда называли квартиру братьев Тихоновых по Муравьевскому переулку. Разговор по обыкновению вертелся около судеб революции. В похоронных тонах говорила Дуня Баранова, славная и умная девушка, сама выбившаяся из фабричных работниц в недурную партийную пропагандистку. Ее недоразвитая фигурка в черном

платье на манер деревенского сарафана, одетого поверх красной сатиновой косоворотки, еще сохраняла в себе много детского. Но смуглое лицо с большими глазами, обрамленное густыми черными волосами, уже носило следы многих дум. Говорила Дуня приятным певучим голосом, и в ее складной речи всегда чувствовалась задушевная искренность. И на самом деле она не рисовалась, не прыгала выше своей головы, а только отстаивала свою мысль, сложившуюся под пение прядильных веретен и продуманную с помощью книги. Она не была красавицей, но приятно и ярко выделялась своей аккуратностью среди фабричных девушек.

— Меня охватывает ужас,—говорила Дуня,—когда я вспоминаю всех погибших в борьбе... Своею смертью они завещали нам добиться победы. А куда мы пришли? У нас нет исхода. Мы снова должны слушать проклятую музыку кандалов и задушенные стоны товарищей, которых палачи тащат на виселицы... И виселиц теперь больше! Они заслонили солнце. И я думаю, что лучше смерть, лучше самоубийство, чем покорная рабская доля...

Своими словами Дуня навеяла такое тягостно-беспросветное состояние, что и мне положение показалось безысходным. Она умолкла. Не говорили ни слова и другие. Молчание продолжалось долго. Потом стали спрашивать друг друга, кто хочет ответить. Все как-то мялись, точно сказать было нечего. Наконец за дело взялся „дед" или, как его иначе называли, „наш наследственный председатель". Он прежде всего заявил, что ответить нужно обязательно и что он считает себя пригодным только на затычку всяких дыр, когда их не хотят заделывать другие, а затем обратился к Дуне. Такой отповеди я никогда не слышал ни раньше, ни после. Ее я помню и до сих пор, а тогда она произвела на меня прямо-таки чарующее впечатление: что ни слово, то освежающая росинка, что ни мысль, то воспламеняющая искра. А в целом—песня соловья, страстно зовущая к жизни. И слушая ее, как мне хотелось научиться говорить точно так же, чтобы гореть самому и жечь волшебно-живительным огнем других.

„Дед"

Начал он свою речь с того, что социалисты распались, как и все окружающие, на три части, что и они не избежали подчинения общим законам. Он доказывал фактами, что все переоценили свои силы, а когда не добились желаемого, увидели, что нехватает пороху, опустили руки и поползли, словно раки, в разные стороны. Партийная интеллигенция тоже распалась. Разочарованные бросились в дебри метафизики и там надеются наполнить свои выветренные души мистической пустотой. Приблудные овцы отошли в сторонку с одной молитвой: „да минует меня чаша" расплаты. Честное и верное пошло в царские застенки. От этого распада рабочие немного отстали во времени, их огни еще догорают, но пути расхождения уже наметились. Дуня жаждет погребения:

— Мы обещаем ей спеть „Вы жертвою пали", ибо она только жертва революции. Но нам с нею не по дороге. Не к смерти, не к самоубийству мы пойдем, а к победе, навстречу солнцу. Какая бы темная ночь ни опустилась над нами, как бы она нас плотно ни укрыла, мы знаем, как свои пять пальцев, что солнце взойдет... Его восход так же неизбежен, как и наша победа. Наконец, если историческая необходимость заупрямится или замедлит, мы сами заставим солнце взойти, и тогда ему же будет хуже. Тогда оно волей-неволей должно будет ярче светить, жарче и дольше обливать нас своими лучами. Вот наша дорога! И дело Дуни подумать, куда ей итти... Если ей нехватает веры в великое дело, то лучше лбом прошибать гранитную стену, чем самоуничтожаться перед деревянным забором... Через тюрьмы и виселицы, но вперед! Ни шагу назад, только к солнцу, только в царство света и свободы! Мы требуем не жертвы священной, а борьбы. На пути многие сложат свои кости, над ними только вьюги и метели споют свои песни, но это нас не остановить. Мы бойцы, и наш исход—борьба, а там—желанная победа и солнечные лучи...

„Дед" говорил больше часа, чего на вечеринках почти никогда не случалось. Но он превзошел самого себя. Никто из товарищей не предполагал, что в этом худом и смирном молодом старике может быть столько юноше-

ского пламени. Его все считали рассудительным и холодным, который не вскипит и в котельной топке. Теперь оказалось, что в нем был и другой человек, нам незнакомый, и только нужно было взять его за жабры покрепче, чтобы он заговорил своим голосом. Своими погребальными мотивами Дуня ударила по его живым струнам, и они зазвучали. Наш „дед" распалился, помолодел сам и всех так встряхнул, что, как только кончилась его речь, Дуня первая подскочила к нему, обняла его и, целуя, закружила по комнате, чем больше всего смутила целомудренного старца. Он вырвался из ее объятий и нашел только два слова:

— Дуня... Дуня!

Она наградила его целым ворохом нежных и ласкающих слов, призналась, что пережила счастливый час и закончила выражением: „блажен, кто верует, тепло ему на свете!", а потом добавила, обращаясь ко всем: товарищи, в субботу приходите все ко мне, споем еще раз лебединую песню.

В этот вечер, тянувшийся до рассвета, уже не пели:

«Счастлив кто спит, кому в осень холодную
Грезятся ласки весны».

α+131

Какой-то задор охватил всех. Хотелось удали, раздолья, которое пьянило бы своей молодостью, и я затянул первый раз на социалистической вечеринке:

«В саду ягода-малина
Под прикрытием росла».

Однако наше бурное веселье оказалось лишь предвестником совсем неожиданного события в нашем кругу.

В субботу, вечером, все собрались у Дуни Барановой, квартировавшей в доме Германа по проспекту. Вечер начался шумно. Декламировали стихи чужого и местного производства, пели песни, устраивали состязания басов на оперных ариях. Мне пришлось выступать в дуэте со Скачковым, нашим районным тенором. Дуня и ее подруга, комнатная сожительница, Дуня Богданова, сделались душою вечеринки. Они были на этот раз в очень шаловливом настроении. Наконец, ни с того ни с сего,

вздумали угостить всех собравшихся шоколадом. Его долго варили и так же долго разливали по кружкам, тарелкам и мискам, потом все приступили с шутками „к пойлу буржуазной скотины". Обе подруги примостились со своими чашками на столике возле зеркала. Остальные, где попало—кому нехватило места, тот уселся со своей миской прямо на полу. Наступило некоторое затишье. В этот момент задрожали оконные стекла от сильного взрыва на улице. Послали разведчиков. Они скоро возвратились и сообщили, что за углом дома по Муравьевскому переулку сын вагонного слесаря Павла Петрова уронил бомбу. Мальчика с оторванными ногами унесли в больницу Александровского завода. Несчастье снизило шумное настроение вечеринки, но ненадолго. Хотелось веселиться, и кто-то высказал в оправдание веселья:

«Мало ли гибнет людей,
Гибнет и ночью и днем?
Плакать не надо о нем...

Дуня Баранова запросила русских песен. Над нею стали трунить: если с шоколада тянет на русские песни, то на что же позовет с них?

— Пожалуй, придется деду плясать комаринскую...

Но Дуня отделалась от шуток и упросила Скачкова спеть для почину его „коронную":

«Тихо тащится лошадка,
По пути бредет,
Гроб рогожею покрытый
На санях она везет».

Песня хорошая, и Скачков умел ее петь мастерски, передавая безысходное страдание и гнетущую нужду. Образ овдовевшего многодетного бедняка вырисовывался в мрачных красках. Скачков вложил всю душу в песню, но пение не удовлетворяло Дуню. Она капризно просила хоровой песни, и мы спели „Ты взойди, взойди, солнце красное", а когда окончили, спросили тоже хором:

— Дальше какую?

Нам не ответила ни одна, ни другая Дуня. Они сидели в затененном углу, и ничего особенного заметно не было.

Хохряков, ходивший у нас „на ролях галантного режиссера“, подскочил к зеркалу, но, не окончив своей изысканной фразы, отлетел прочь, словно мячик. Искаженные лица девушек заставили замолчать его словоохотливый язык. Поднесли лампу и осветили подруг: обе они были уже мертвы. Перед Барановой стояла пустая чашка, Богданова половину не допила. Пригласили знакомого врача, и он определил отравление большой дозой сильного яда. Было уже за полночь. Покойниц немного прибрали. Кто-то сказал им прощальное слово, простил им нехватку воли к борьбе, а потом по обещанию спели „Вы жертвою пали...“

Когда наступил день, трупы отнесли в покойницкую при больнице Александровского завода и там положили их рядом с безногим мальчиком Петрова, который только что умер, не рассказав при допросе полицейскому, что помогал брату „чистить квартиру“ в ожидании обыска и что поскользнулся, перенося бомбы...

Наша невскозаставская молодежь точно ждала какого-нибудь сигнала. Его и дали две Дуни, а дальше уж каждый выбирал способ по своему усмотрению. Один вкладывал себе в рот дуло браунинга, другой искал на льду проруби, третий обвязывал горло веревкой, но конец был один и тот же. Он без слов говорил, что гнетущее время опустошило людей, не оставило им ни капли силы, чтобы пережить сумерки и предстоящую ночь. И эпидемия самоубийств развивалась тем больше, чем сильнее крепла реакция. А рядом стало нарастать пьянство. Люди безвольные повалили в трактиры и казенки заливать душу горькой водкою. Немало нашлось и уверовавших в судьбу. Из таких мне часто вспоминается боевик-максималист, Никита Петров, поверивший в „хиромантию“. Пройдоха-хиромантка угадала, с кем имеет дело, и загадочно изрекла:

— Что же, молодой человек, или сена клок или вилы в бок.

Это было ясно и без предсказания. И никто не удивился, когда на другой день охранник застрелил Никиту, пытаясь его арестовать. Разгром революции и по-

лицейское наступление как бы подменили людей. К осени в воздухе появились никчемные вопросы „о смысле жизни“ и тому подобные. И интересы стали не те: социал-демократов упрекали в том, что они бросили под стол „Капитал“ Маркса и взасос зачитываются „Саниным“ Арцыбашева. Другие обсасывали половые проблемы и разную магию. Но и это было еще не всё: разговоры о провокации дополняли разливавшееся кругом омерзение. Сегодня сообщают, что Валонский—Клюев—выдает охранке, завтра становится провокатором какой-нибудь Ванька, за ним Павел... Искали люди живого дела, но не находили его, и вот возникло целое течение по спасению проституток. Одиночки кончали женитьбой, но в массе эти попытки ни к чему ни приводили.

А полиция наступала. Ночей нехватало для обысков и арестов—жандармы с арестованными появлялись на улицах среди бела дня. Нелегальных наплодилось столько, что и надежных квартир стало недостаточно. Приходилось ночевать на дровяных баржах, в кустах, в копнах сена на лугу. На улицах зашныряли добровольцы-сыщики. Я решил, что такую непогоду лучше всего переждать под заводской крышей, и снова пристроился на завод, но проработал только пять дней.

Я крепко спал. Ни стука в двери, ни „малинового звона“ жандармских шпор я не слышал, а когда открыл глаза, увидел склонившееся надо мною лицо в пенсне с холеной эспаньолкой:

— Ваша фамилия?

— Бураков.

— Пожалуйста, встаньте. Нужно произвести обыск.

Жандармская деликатность поразила меня. Я ждал, что арест начнется с брани и зубодробительства. „Пожалуйста“ так на меня подействовало, что я с большой готовностью оделся в полминуты. В квартире ничего не нашли, и меня повезли в город, прямо в охранное отделение на Петербургскую сторону.

Небольшая конура в подвале была жарко натоплена. Клеенчатый диванчик стоял возле чугунной печки. Большой весь в пятнах стол занимал целый угол. Кругом так

„Песнь песней", а теперь Пушкин говорит: „я помню чудное мгновенье". Но материя одна: женский пол. Жизнь наружу просится. Читал я Польдекока, но то мелочь...

— Брось молоть,—перебивает его слушатель,—давай библию скурим, больше пользы будет.

— Мне ее и так хватает. Вот читаю и всё знаю и теперь-то уж слезу об амнистии не пущу...

Бывали разговоры и на другие темы, но самые, так сказать, перепалочные всегда случались, когда речь касалась революции. Начинались они спокойно, а там, глядишь, один и вставит:

— Революцию сделаем мы, рабочие...

— Ты со своей махаевщиной,—осаживает его другой,—сядь пониже, а то опять угодишь лет на двадцать. Рабочие, конечно, толкнут, но сами получат направление от трудовой интеллигенции, а сделают-то крестьяне. Их инстинкт верно ведет...

— Чего ты сказал?.. Инстинкт?.. Это не тот ли самый, который во времена крепостного права заложили помещики, а теперь вырастили земские начальники?

Дальше поднималась такая перепалка, что постовой надзиратель не выдержал и, заглянув несколько раз „в очко", кричал, стуча в дверь:

— Тише!.. галманы, чего там не поделили.

В общих камерах среди рядовых каторжан было много словесных забияк и, можно сказать, они жили в свое удовольствие. Было немало природных бунтарей, но им не очень везло. Народу было много и, кажется, такого, который легко было подзудить, но нехватало массы, склонной к действию, и наша тюремная жизнь протекала относительно спокойно. Большинство подучивалось, почитывало, меньшинство устраивало стычки с тюремщиками и посиживало в карцерах. Но вот наступил 1912 год. Ни в тюрьме, ни на воле еще ничего возбуждающего надежды не случилось, а между тем прежнее спокойствие как-то улетучилось, развеялось точно предутренний туман на лугах. В камерах заговорили, зашушукались, бунтари ожили, попав в родную стихию. В это время в первой камере сидели каторжане самые разнокалиберные

и разноцветные по политической окраске. Там были два анархиста враждующих толков—Купченко и Ященко; два максималиста, два социалиста-революционера, один большевик, один меньшевик и пять уголовных—цыган, хохол, армянин, поляк и русский. И эта разномастная камера стала задавать тон всей корпусной жизни. Вся камера как-то отличалась в своих выступлениях против тюремщиков непоколебимой целеустремленностью и способностью окрашивать всякий пустяк в общественную окраску. Трудность борьбы с тюремщиками их ничуть не смущала, а неудачи только теснее сплачивали воедино. Но вот на воле пронесся клич протеста против расстрела рабочих на Ленских золотых приисках. Общественное пробуждение ворвалось в тюрьму, взломало крепкие запоры, и жизнь потекла по-иному. Кругом так забурлило, что все стали чего-то ждать, все стали посматривать на одиночки четвертого корпуса, где к этому времени собрался весь цвет Шлиссельбургской каторги.

Лихтенштадт—его даже начальник тюрьмы считал вождем каторжан.

Жадановский—организатор вооруженного восстания сапер в Киеве, человек маленького роста, но огромной популярности.

Билибин—социал-демократ, очень боевой.

Бернштейн—Ионов Илья—осужденный за военную организацию.

Сапожников—тюремный бунтарь и раз уже убежавший с каторги.

Доктор Петров из Варшавы—прославленный бунтарь.

Все это были не люди, а настоящие орлы боевые. Кроме них в одиночках сидело больше двух десятков революционеров первой руки. Все они были готовы вступить в бой с тюремщиками и подготовляли к этому каторжанскую массу, но время не ждало, и поток хлынул мимо одиночек.

Застрельщиком тюремного выступления оказалась шестая камера, в которой сидело двадцать два человека, в том числе человек восемь военно-дисциплинарных и уголовных каторжан. Среди последних особенно выде-

лялся по развитию один—Константин Бушуев—„новгородский ушкуйник“ или „внучатный племянник Васьки Буслаева“. В этой камере находился и я, занимая положение „миротворца“.

В камере часто возникали политические и литературные споры. Каждый спорщик как будто придерживался правила: „пусть морда в крови, лишь бы верх наш“. Самый горластый и горячо-напористый спорщик был Ванька Коротков. Его стихийно-боевая натура постоянно угрожала камерному миру. Он не признавал правоты своих идейных противников и, обладая большой физической силой, часто переходил от слов к прямому действию. И вот, что бы он сгоряча не сокрушил какого-нибудь социал-демократа, мне не раз приходилось отрывать это шестипудовое „трудовое крестьянство“ от земли и слегка пожимать, пока у него пропала охота к продолжению схватки. Однако подобные споры с таким завершением не мешали всем нам жить очень дружно, и мы первые объявили бойкот помощнику начальника Любенецкому. Когда ему не ответили на вечерней поверке, и старший надзиратель Дергачев спросил, почему молчим, у меня сорвалось с языка:

— Сходи во второй корпус, там скажут!

Мое дело, собственно говоря, было молчать, так как переговоры с тюремщиками вели от имени камеры всегда другие мои сокамерники. Но на этот раз, когда орудием борьбы избрали столь необычное для меня средство, слова сами выскочили, а из-за них помощник зачислил меня в зачинщики. И вот, дня через три меня повели на расправу в караульное помещение, где и выпороли вместе с Богдановым и Прожогиным. После порки мы втроем просидели месяца полтора или два в мертвецкой и совсем не знали, как продолжался протест.

К осени, когда нас перевели во второй корпус, тюремная жизнь текла уже нормально, и такое „мирное житье“ продолжалось до начала мировой войны. Война взбаламутила каторжанскую гущу до самого дна и отодвинула все тюремные вопросы на задний план. Теперь спорили между собою пораженцы и оборонцы, но это

уже были не тюремные споры. Каторга хотя еще и не кончилась, но так отодвинулась в сторону, что о ней и сказать больше нечего...

Из Шлиссельбурга я сообщил матери, что нахожусь в каторжной тюрьме, только убедившись, что убежать мне не удастся. Мне хотелось узнать, жива ли она? Ответа долго не было, а потом она приехала на свидание. Было воскресенье. Большая толпа каторжан перетаскивала разный строительный хлам от церкви за крепостные стены. Работал и я. Мы сновали кучками из крепости на берег озера без сопровождающих надзирателей. В разгар суеты к пристани подошел крепостной пароходик. В тюремную контору повалила публика, приехавшая на свидание. Среди нее наши невцы узнали Клавдию и стали с нею целоваться. Я ожидал своей очереди, но в тот момент старший Дергачев закричал:

— Мать встречай, а на чужих жен не зарься!

И я увидел свою старушку и совсем не узнал ее. За минувшие годы она обветшала, словно забытая хата бобыля.

Встреча так обрадовала ее, что она не заметила даже моих кандалов...

В конце января 1917 г. я покинул Шлиссельбургскую крепость, получивши несколько месяцев скидки. Всю дорогу до Иркутска уже чувствовалось тревожное настроение. Конвойные солдаты все шептались между собою и боязливо поглядывали на нас, но узнать толком ничего не удавалось. Зато в Иркутске начальник тюрьмы Пугавко, служивший раньше помощником в Шлиссельбурге, узнал меня и озадачил вопросом:

— Зачем приехал?

— Привезли...

— Тебя только и нехватало.

А на следующее утро тюрьма запела:

«Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов...»

В коридоре кто-то неистово кричал:

— Товарищи, в Петрограде революция!